

Кириллыч

I

Несколько лет тому назад мне пришлось гостить у одних знакомых на хуторе в степной части Крыма.

На этом хуторе, в числе работников, жил старый отставной матрос прежнего Черноморского флота Кириллыч. Он пробыл на службе лет двадцать и, как скромно выражался, «кое-что и повидал на своем веку». Он и «принял» немало линьков и «бою» от начальства, и с «черкесом» воевал во время крейсерств у Абхазских берегов тогда еще непокоренного Кавказа, он и с «туркой дрался» в Синопском сражении, бывши сигнальщиком на том самом корабле, где имел свой флаг адмирал Нахимов, и затем, во время осады Севастополя, безотлучно пробыл шесть месяцев на знаменитом четвертом бастионе, пока ядро не раздробило ему левую ногу.

Несмотря на свои семьдесят с лишком лет, этот маленький старикашка с седой, коротко остриженной головой, с выбритыми морщинистыми и побуревшими от загара щеками и щетинкой колючих седых усов глядел молодцом. Почти все зубы у него были целы и зрение чудесное. Только глуховат был на одно ухо — от бомбардировки оглох, по его словам.

Он бодро и скоро ковылял на своей деревяшке и добросовестно исполнял обязанности караульщика большой бахчи, когда поспевали арбузы и дыни, и сторожа при хуторе зимой, когда уезжали господа.

Я любил навещать Кириллыча в его владениях, любил беседовать с ним и, главное, слушать его рассказы, полные интереса и того наивного юмора, которым отличается русский человек даже и тогда, когда рассказывает далеко не веселые вещи.

Как и большая часть стариков, он охотно вспоминал прошлое и, по-видимому, рад был моим визитам, тем более что я иногда баловал старика — приносил ему небольшую склянку водки, до которой Кириллыч был большой охотник.

Бывало, на зорьке, когда еще солнце не поднималось и воздух был полон острой, бодрящей свежести, или перед вечером, когда спадала томительная жара, я пробирался между гряд бахчи к караулке Кириллыча, сделанной из жердей, покрытых рогожками. Она стояла посредине бахчи, и оттуда Кириллыч озирал свои владения, карауля вместе с маленькой черной лохматой собачонкой

Цыганкой вверенную его надзору бахчу. Птиц он отгонял трещоткой, а людей, которые покушались в неумеренном количестве воровать арбузы и дыни, огорашивал страшною руганью и, в случае чего, стращал ружьишком, заряженным дробью. Взять арбуз один-другой он никому не отказывал — ешь, мол, с богом! Но наполнять мешки чужим добром не позволял и таких воров преследовал немилосердно.

Обыкновенно лохматая Цыганка выбегала ко мне навстречу, заливаясь неистовым лаем, но, распознав знакомого человека, смолкала и, весело виляя хвостом, возвращалась к караулке и свертывалась у входа калачиком. По утрам я почти всегда заставал Кириллыча или за бритьем, или только что окончившим эту операцию. Брился он тем самым ножом, которым резал и хлеб, смотрясь в маленький осколок зеркала, и хотя бритье таким способом едва ли было особенно приятно, тем не менее Кириллыч стоически переносил пытку и тщательно выскабливал свои щеки по привычке хорошо вымуштрованного матроса николаевского времени.

В караулке Кириллыча было чисто и опрятно и все прибрано к месту, словно бы в корабельной каюте. Земля была устлана рогожками. Широкий деревянный обрубок служил столом, а другой — поменьше — стулом. На полке, укрепленной бечевками, в порядке расставлена была посуда: котелок, медный чайник, деревянная чашка, ведро и две кружки. Коврига черного хлеба, обернутая чистой тряпичей, и помадная банка с солью стояли тут же. В переднем углу висел крошечный образок, а у изголовья постели Кириллыча стояло одноствольное ружье, и кое-какие принадлежности костюма висели на гвоздиках. Постель Кириллыча состояла из бараньего тулупа шерстью вверх, на котором была подушка в ситцевой наволоке. Спал Кириллыч всегда на меху, чтобы не ужалила проклятая «таранта», как называл старик тарантулов, которые боятся бараньего запаха. Однако, на всякий случай, он держал скляночку с настоем спирта на этом самом насекомом. Татары научили его этому средству против укуса тарантула.

Днем, во время жары, Кириллыч ходил в одной рубашке и исподних, в татарских башмаках на босу ногу и в матросской старой шапке на голове, а когда наступала ночная свежесть, надевал куцее затасканное пальтишко и в таком виде сиживал перед караулкой, наслаждаясь вечерней прохладой и поглядывая на высокое бархатное небо, усеянное звездами. Рядом с ним дремала чуткая Цыганка, пробуждавшаяся при малейшем подозрительном шорохе.

Нередко в такие чудные вечера сиживали мы вместе с Кириллычем. Обыкновенно, как только я заходил к нему, он предлагал мне кавуна или дыньки, и я, по его примеру, ел чудный арбуз, закусывая его черным хлебом,

круто посыпанным крупной солью.

Среди торжественной тишины вечера Кириллыч, бывало, рассказывал, понижая голос, о прежней службе с ее строгостями и муштрой, о начальниках, о черкесе, о турке, о французе и особенно любил вспоминать о том, как сам Павел Степаныч Нахимов (царство ему небесное!) повесил ему на бастионе «егория».

В рассказах Кириллыча покойный адмирал являлся легендарным героем, чуждым каких бы то ни было недостатков, и был единственным начальником, о котором старый матрос не обмолвился каким-нибудь критическим замечанием. И когда я спросил, порол ли Нахимов так же жестоко, как и другие черноморцы того времени, то Кириллыч даже с сердцем воскликнул:

— Ну так что же! И порол ежели, то правильно, за дело, вашескобродие!.. А другие так вовсе без рассудка, по бешености... Одно слово... никому не сравняться с покойным Нахимовым. Во всех статьях, можно сказать, начальник был!..

О себе и о своих подвигах — а о них я слышал от одного старого моряка-севастопольца, приезжавшего на хутор, — Кириллыч никогда не говорил, вероятно, и сам не подозревая, что броситься в пороховой погреб и вынуть из вертящейся бомбы горящую трубку — не совсем обыкновенное дело для человека, и когда я спросил его об этом обстоятельстве, то он просто, словно бы не придавая своему подвигу ни малейшего значения, ответил:

— Точно, было такое дело. Вижу, подлая, пробила пороховой погреб, я и за ей. Думаю: беда будет, как взорвет... Народу-то сколько пропадет!

— Да ведь вы могли первый погибнуть, Кириллыч?

— Пожалуй, что и так, — простодушно промолвил Кириллыч и, пыхнув острым дымком махорки из своей коротенькой трубочки, прибавил: — Однако господь вызволил. Только руки себе спалил.

— А вот как ноги решили, так вовсе страшно стало, вашескобродие! — проговорил после паузы Кириллыч.

— Отчего страшно?

— Главная причина оттого, вашескобродие, что думал я тогда: пропасть мне без ноги. Как прокормиться с одной ногой-то? Пенсия за ногу, сказывали, маленький, на его не пропитаешься, а подаванием кормиться тоже как быдто зазорно матросу с «егорием». И докладывал я в те поры дохтуру: «Нельзя ли, мол, вашескобродие, оставить как-нибудь при ноге?» Не согласился. «Никак,

говорит, невозможно. Ежели, говорит, не отрезать — умрешь!» Ну, так и отрезали.

— И не пропали вы без ноги, Кириллыч?

— То-то не пропал, вашескобродие! — усмехнулся старик. — Сперва, после замирения, как вышла мне чистая, жил я в Севастополе яличником, перевозил, значит, через бухту народ, который вернулся в город. Ну, и которые приезжие были, чтобы на Севастополь полюбопытствовать... Те, бывало, и полтину за перевоз давали... А после вот по хуторам пошел, потому люблю я, вашескобродие, вольный воздух. Спасибо добрым людям, не брезговают старым анвалидом... Небось и деревянная нога службу справляет! — не без некоторой гордости говорил Кириллыч, хлопая по деревяшке и, по-видимому, вполне довольный, что после двадцатипятилетней службы, геройских подвигов и потери ноги он не «пропал вовсе», а вел полунищенское существование. — Вот только отрезанная нога иной раз оказывает, вашескобродие! — прибавил Кириллыч.

— А что, болит?

— Ненастьем, значит, ломоту дает... А то, нечего бога гневить, сух я из себя, а нутренность вся здоровая, даром что за седьмой десяток перевалило. Паек-то уж давно мне на том свете по положению идет, а господь, видно, не пускает. «Живи, говорит, старик, пока кости носят». Я вот и живу!

II

Однажды, в один из прелестных в Крыму августовских вечеров, старик как-то особенно оживленно рассказывал про бомбардировку Севастополя, про вылазки по ночам, про пленных, про штурм, когда его «шарахнуло» в ногу ядром, и, окончив свой рассказ, совершенно неожиданно прибавил:

— А все-таки ни в жизнь не взять бы французу Севастополя, вашескобродие, хотя у француза и штуцера были!..

— Однако же взяли...

— А почему взяли, как вы полагаете?

— Да потому, что сила была на стороне неприятеля.

— Си-ла? — иронически протянул Кириллыч. — А я по своему глупому рассудку так полагаю, что господь уж заранее определил наказать Севастополь. Потому и взяли.

— Наказать? За что? — удивленно спросил я.

— А за те самые грехи, за которые бог наказал Содом-Гоморру! — горячо проговорил Кириллыч, соединяя оба города в один. — Потому, доложу вам, вашескобродие, слишком уж распутно по части женского пола жили в Севастополе. Вовсе забыли бога. Так в грехах, примерно сказать, и купались. Какая своя жена, какая чужая — не разбирали. После, мол, разборка будет. Господа пример показывали, а за ими и наш брат, простой человек... У всех, почитай, полюбовницы были от женок... Ну, и те не зевали. И такой вроде быдто содом-гоморр шел, что страсть!.. А бог смотрел-смотрел, терпел-терпел и под конец не стерпел. «Надо, говорит, разорить Севастополь, чтобы, мол, камня на камне не осталось!..» И в те поры императору Николаю Павловичу отколе ни возьмись вдруг объявился во дворце монах и прямо в кабинет царский. «Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвоьте слово сказать». Дозволил. «Говори, мол, свое слово». А монах лепортует: «Хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполнят, как следовает, по совести, но только Севастополю не удержаться по той самой причине, говорит, что господь очень сердит, что все его, батюшку, забыли. И для примера попомните, говорит, мое слово: француз победит. И тогда, говорит, ваше императорское величество, беспрременно прикажите вашему сыну, чтобы распутство и жестокость начальства повелел искоренить и чтобы хрестьянам объявить волю. А ежели, говорит, ваше величество, этого не накажете сыну, то вовсе матушка-Россия пропадет и всякий будет иметь над ней одоление». Император слушал, как монах дерзничал, да как крикнет, чтобы монаха тую ж минуту забрить в солдаты. Прибежали на крик генералы, а монаха и след простыл. Нет его... Точно сквозь землю провалился... А вскорости после того император и умер, потому не стерпел, что русскую державу и француз одолел. То-то оно и есть! Вот самая причина, почему француз взял Севастополь и после замирения вышла воля! — закончил Кириллыч.

Мне и раньше доводилось слышать от стариков матросов, что Севастополь разорен за грехи, но черноморцы говорили об этом далеко не в такой категорической форме и не с тою глубокою убежденностью, какою звучали слова Кириллыча. Что же касается до появления какого-то монаха и связи падения Севастополя с освобождением крестьян, то едва ли в данном случае Кириллыч не приурочил разные слухи, ходившие в народе перед волей, к собственным своим желанием, угадав чутьем значение Крымской войны.

— Уж разве такие грешники жили в Севастополе? — спросил я Кириллыча.

— То-то совсем срамота была... Все: и старые и малые на баб льстились.

— И жестокие начальники, как вы говорите, были?

— Такие, можно сказать, отчаянные в жестокости, что и объяснить трудно... а вместе с тем жестокий-жестокий — убить, кажется, не жалко его — матроса казнил без всякой отдышки, а заботу об ем по-своему имел... Поди ж ты, какие люди бывают! — в каком-то философском раздумье прибавил Кириллыч.

— Кто ж у вас такой был?

— Много их было, но только страшной Сбойникова не было. Может, слышали про капитана первого ранга Сбойникова?

— Слышал по фамилии... Он был убит в Севастополе. И говорили, будто своими.

— Он самый и есть... Очень мудреный был человек...

— Вы расскажите про него, Кириллыч...

— Да уж что худое говорить про покойника...

— Да вы не в осуждение...

Кириллыч примолк, и показалось мне в полутьме сумерек, будто бы мрачная тень пробежала по его добродушному лицу от нахлынувших воспоминаний.

Он подавил вздох и, решительно сплюнув, начал:

III

— Его матросы так и звали «генерал-арестантом» за его жестокость. Другого названия ему не было. Генерал-арестант да генерал-арестант!.. Сказывали, будто в балтинском флоте был такой же мучитель и было ему такое же прозвище, только вряд ли балтийский был такой лютой, как наш! Его, бывало,

всегда назначали командиром на то судно, где какая ни на есть по службе неисправка была. «Он, мол, собака, подтянет, приведет, можно сказать, до самой точки...» А служба, вашескобродие, в Черном море тогда строгая была... тяжкая... Двоих, примерно, до неспособности от линьков доводили, зато третий, который ежели здоровье имел, вроде дьявола по матросской части был... изо всех сил, значит, старался и службу свою справлял... Не то шкуру небось спустят за всякую малость. Тогда шкуры-то нашей нисколько не жалели, вроде будто по турецкому барабану били, не то что теперь, когда матросу права дадены... Тогда, вашескобродие, случалось и до смерти запарывали... Иди на том свете к господу богу с лепортом... а что которых малосильных в чихотку вганивали — про то опять-таки один господь знал. Такое уж положение в Черноморском флоте было, чтобы матрос был обучен как следует... И ни тебе ни суда, ни расправы матросику. Сунься-ка жаловаться? Узнаешь, как скрозь строй гоняют! И все господа по такому положению словно озверелые какие-то были. Другой мичман приедет из обучения добрый да жалостливый, из лица бледнеет, как по субботам на баке стон стоном идет, а как прослужит год-другой, смотришь — и сам так и чешет в ухо да приказывает боцманам матросу шкуру снять... Привыкает... А надо вам сказать, что этот самый генерал-арестант по службе первый, почитай, капитан был. По всем частям дока... Ни один боцман его не проведет... А уж управлялся судном — одно слово... И у его на судах первая по всему флоту команда была... Их и звали чертями... Так вот как назначат Сбойникова на новое судно, он сейчас явится на корабль... команду во фронт — и к им... А сам он из себя был небольшой, коренастый, чернявый... Лицо точно у цыгана и глаза этакие пронзительные... Идет это спешно, ус дергает, поздоровкается как следует и зыкнет: «Знаете, мол, такие-сякие, Сбойникова? Ежели, говорит, не знаете, то знайте, что я меньше трехсот линьков в кису не накладываю. Помните это и старайтесь!» А уж матросы и без того в тоске... Кто не знал генерал-арестанта?.. Слава богу!.. А все-таки как следует, по всей форме в ответ: «Рады стараться, вашескобродие!» Еще бы не рады! Хорошо. Угостивши таким родом матросов — к офицерам на шканцах. «Так, мол, и так, господа офицеры, прошу служить как следует, а не то не извольте пенять. Я, говорит, с позволения сказать, не... баба и бабства не потерплю... У меня, говорит, сейчас под суд... Пусть, говорит, начальство разбирает!» Нагнавши это страху на офицеров, он марш в каюту, а на другое утро ученье, а сам со склянкой стоит, минуты, значит, отсчитывает... И ежели на какой секунд заминка с парусами ли, по артиллерийскому ли учению, по пожарной ли тревоге — бывало, человек пятьдесят пошлет на бак... И слово свое держал, меньше трехсот не приказывал... И так, вашескобродие, каждый день терзал людей... Смотришь, бывало, как полосуют нашего брата безо всякой жалости, так ровно в глазах мутится. Так бы, кажется, и задушил этого дьявола... И был один такой матросик, что не стерпел... Кинулся на его с

ножом.

— Что ж он?

— Отстранился вовремя... Догадался, значит, по глазам...

— Что же было матросу?

— А такое он объявил ему решение: «Хочешь ты, говорит, помереть или мало-мало идтить в вечную каторгу, так я тебя, такого-сякого, сей секунд отошлю на берег и отдам под суд, а не хочешь, так получи пятьсот линьков, и ничего, мол, я не видал... Подумай, говорит, пять минут и опосля приходи ко мне. Помирать тебе, говорит, дураку, рано, в каторге, братец, сгниешь, а шкура заживет...» Это он ему вдогонку.

— Ну, и что же выбрал матрос?

— Стал под линьки. Выдержал. А потом этого же самого матроса — как бы вы думали, вашескобродие? — Сбойников в унтерцеры произвел... И все от начальства тогда скрыл и строго-настрого приказал ничего не болтать... Тоже по-своему пожалел... Не хотел загубить человека и нож этот самый простил... Вот и поди ж ты. Зверь-зверь, а тут поступил правильно... И то надо сказать. Тиранить он тиранил, а насчет пищи первый командир был! У него ни левизор, ни баталер не смели, значит, обидеть матроса. Ни боже ни! Тут бы он не пожалел... И насчет обмундировки, чтобы все матрос получал по положению... А на вино, ежели работали хорошо, так своих денег сколько тратил. Всей команде, бывало, от себя жаловал за каждый день... Небось денег стоит... Совсем чудной был. А непреклонности своей не смирял... Даже и когда француз пришел и многие офицеры притихли, — боялись, значит, — этот по-прежнему остался генерал-арестантом... Еще жесточей стал.

— Вы, Кириллыч, с ним служили?

— То-то служил, и он меня — по правде сказать — мало тиранил. Даже приверженность имел, — как-то смущенно прибавил Кириллыч. — В вестовые взял, а потом с четвертого бакстиона перевел к себе, состоять при нем, когда его назначили, значит, траншейным майором, на самую опасную должность... А вестовым я у его до войны два года прослужил... Тут-то я и пытался спознать его...

— И спознали?

— Никак не спознал... Не разобрать евойной души... когда в ей зверь, когда человек... Видно, такого бог уродил...

— А тяжело было служить вестовым?

— Вовсе даже было легко, потому Сбойников дома совсем легким человеком был...

— Как легким?

— А так, вспылит ежели, обругает или вдарит в зубы, только и всего... А чтобы тиранить ни боже ни. Это только он на корабле да на службе, а так, значит, прием служить — одно только удивленье... Быдто даже и не генерал-арестант... Но только с полюбовницей своей — опять зверь зверем был... Трудно, вашескобродие, и поверить, что он с ей раз сделал...

— Из-за чего?

— Из-за ревности, вашескобродие. Ревнивый он был страсть и любил эту самую Машку. А была она матросская вдова, такая ядреная, здоровая баба... Одно слово — козырь... И молодая, лет двадцати... Пошла она к Сбойникову в полюбовницы из-за денег... ну и попомнила... каковы денежки, да шелковые платья, да вкусная пища...

— Что ж он сделал?

— А поймал он у нее как-то раз матросика своего же экипажа, да и велел ему эту Машку привязать косами к крюку на потолке... Матросик не осмелился перечить, со страху исполнил приказание; тогда Сбойников велел ему уйти и сам вышел, да еще и двери запер... На рассвете эту Машку замертво сняли... слышали, как она криком кричала... Сломали двери... Видят обходные — висит человек и еле дышит... Доложили по начальству... Однако дело замяли... Тут вскорости и войну объявили... Не до того было!..

Кириллыч примолк и закурил трубочку.

— Экая благодать! — промолвил он, наслаждаясь вечером. — И подумаешь, какие злодеи были... И сколько горя терпели от их...

— Что ж, жива осталась Маша?

— Отлежалась...

— А Сбойников жалел ее?

— Еще как!.. Вы вот дальше послушайте, вашескобродие, какой это был человек... Дайте только передохнуть. И то быдто в горле пересохло.

IV

Кириллыч выкурил трубку, откашлялся и совсем тихо, словно бы боясь нарушить торжественную тишину чудного вечера, проговорил:

— Да, вашескобродие... Совсем чудной был этот самый генерал-арестант. И в вестовые-то он брал не так, как другие...

— А как?

— Другие которые командиры брали себе вестовых из слабосильных или неисправных по флотской части матросов, а он таких не брал... «Не стоит, говорит, таких подлецов к лодырству приучать». И меня он взял, вы думаете, по какой причине, вашескобродие.

— По какой?

— За мою флотскую отчаянность, вашескобродие.

— Как так?

— А так оно и было. Я, вашескобродие, отчаянным фор-марсовым считался. На нок ходил, значит, штык-болт вязал. Сами изволите понимать, вашескобродие, что на штык-болте не всякому справиться. Бежишь, бывало, по рее вроде быдто оголтелой собаки, как скомандуют паруса крепить или рифы брать Долго ли при такой оголтелости сорваться.

— И срывались?

— А то как же! Срывались и насмерть расшибались о палубу, а то в море падали... Каждое лето такие дела случались у Сбойникова. Он ведь, анафема, за каждый секунд промедления порол. Так небось каждый марсовой изо всей силы рвался, в бешенство, можно сказать, входил... Не о том думал, что упадет, а как бы ему шкуру не спустил Сбойников. Всякий, значит, его опасался. Он неисправки никогда не прощал. Что другое — пьянство или какую шкodu на берегу простит, а неисправку по флотской части — ни боже ни! По самой этой причине и старались.

— Не все же такие были, как Сбойников.

— Кто говорит... Этот был по жестокости первым во флоте, недаром ему и

прозвище дали генерал-арестанта, — но только, вашескобродие, на всех судах без порки да без бою не выучивали. Такое, значит, было положение до войны... Ну, а после, когда император узнал, как матросики Севастополь отстаивали, другое положение определил... Теперь, сказывают, на флоте такого боя нет... Правда это, вашескобродие?

— Правда, Кириллыч, — отвечал я.

— То-то один унтерцер мне в Севастополе сказывал, что нет, и легче, мол, служить. И корабли пошли другого фасона... Без мачт, а то и есть мачты, так только для виду: ни рей на их, ни парусов... Так всё паром ходят. Небось матросу теперь и упасть-то неоткудова... Ходи себе по палубе... Но только, вашескобродие, неказисты эти нынешние корабли... Видел я их в Севастополе...

— Не понравились?

— Вовсе дрянь против прежних! — промолвил Кириллыч тоном полнейшего презрения. — Положим, теперь на их опаски меньше, а я так полагаю, что без опаски какой и матрос!.. Теперь он вроде солдата, значит... только так, зря матросом называется... А в старину мы настоящие матросы были... Бывало, бежишь по рее и вовсе забываешь, что упасть можешь. Таким родом и я чуть не убился, вашескобродие...

— Как так?

— Сорвался я в горячности с нока, да на лету уцепился как-то за шкаторину и повис... Чувствую, нет силы моей держаться... Еще секунд, и упаду на палубу... Вижу свою смерть... Но только спасибо этому самому генерал-арестанту — не допустил.

— Как не допустил? — удивился я.

— А голосом, вашескобродие.

— Голосом? — переспросил я, недоумевая.

— То-то голосом. Увидал он меня в таком виде на шкаторине, да как крикнет, дьявол, со всей мочи с мостика: «Насмерть запорю, такой-сякой, ежели, говорит, упадешь. Держись!» И так я испугался этого крика, что зубами вцепился в шкаторину... держусь. А тем временем конец подали с реи... И меня подняли... Не подбодри он тогда меня страхом — не жить! — прибавил Кириллыч.

Кириллыч выдержал паузу и продолжал:

— Как просвистал боцман «с марсов долой!» — велел меня позвать. Прибежал. А

он стоит на мостике, ноги расставил, сам сгорбимшись маленько, поглядел на меня своим пронзительным глазом и говорит: «Молодчина, Кириллов! Слушаешься своего командира, а то лежал бы ты, такой-сякой, с пробитой головой. Как это ты сорвался? По какой такой причине?» — «От горячности, вашескобродие», — докладываю. «А отчего, спрашивает, ты руки за пазуху спрятал?» — «Ногти, мол, сорваны и кровь, говорю, вашескобродие, каплет, так чтобы не загадить палубы!» — «С рассудком ты, матрос. Ну, ступай, говорит, в лазарет... там тебе пальцы починят, а за меня, говорит, пей десять ден по чарке!»

— И долго вы возились с пальцами, Кириллыч?

— Так, неделю, должно быть, не мог справлять должности, а там опять на марс. Однако недолго мне пришлось служить на марсе. Вскорости после того назначил он меня вестовым, а бывшего своего опять сделал марсовым, да и в тот же день приказал отодрать.

— За что?

— А на марс бежал сзади всех... Отстал... Известно, в вестовых очижалел... А мне говорит: «Отдохни, подлец, при мне. Очень уж ты, такой-сякой, отчаянный, говорит, матрос... Будешь, говорит, вестовым, да смотри — не воображай о себе, что ты капитанский вестовой»...

— За что ж он вас ругал?

— У его, вашескобродие, без того, чтоб не загнуть дурного слова, не было и разговора. Только меня он ругал не от сердца, а, значит, одобрительно... Так я у его два года в вестовых и прослужил... Сперва боялся, а после — нисколько... Непривередливый был и взыску строгого не было... И редко-редко когда в горячности искровянит, да и то, как отойдет, повинится... «Извини, говорит, братец. Я, говорит, не в своем праве бить человека на берегу. Жалуйся на меня, если забижен!» И, бывало, карбованец даст... А жил он на берегу просто... Квартира у нас была небольшая — две комнаты да кухня... Только и всего работы, что содержи ее в чистоте, подай ему утром самовар да почисти сапоги и платье... И еще жалованье платил от себя — три рубля в месяц, а обедать я в казармы ходил... Сам он редко дома сидел... Чай отопьет и ушел... Тоже на охоту часто ходил; бывало, осенью на несколько ден закатывался со своим «Шарманом» — пес легавый у его был... И горячий охотник был... Раз так и влепил заряд дроби в ногу своему приятелю, капитан-лейтенанту Кувшинникову. «Зачем, мол, не в очередь стрелял»... Много, бывало, дичи нанесет и сейчас пошлет меня разносить по знакомым. «Кланяйся, мол, и скажи, что от Сбойникова». А дома не обедал. Больше все в клубе или где у знакомых.

Вернется, отдохнет час-другой, выпьет чаю, да и айда к своей душеньке.

— Это к той самой, с которой он потом так жестоко расправился?

— К той самой... И очень он к ей привержен был. Одаривал ее — страсть!

— Верно, хороша собой?

— То-то очень даже видна из себя... Такая чернобровая, глаз черный, лицо чистое-пречистое... одно слово, форменная бабенка, вашескобродие. Но только и шельмоватая же была! Этого самого Сбойникова долгое время обманывала — на стороне, значит, гуляла с кем ни попадет... И больше летом, когда он уходил в море. Не очень-то опасалась своего. Думала: обожает, так она в полной, значит, у его доверенности. И точно: сперва Сбойников не догадывался, что она без его погуливает, — верил, как она зубы ему заговаривала. Ну, а она оставила всякую опаску... Пошла вовсю... Жаль стало бабы, она хоть и гулящая, а добрая-предобрая, я вам скажу, и, бывало, скажешь ей: «Ой, милая, не очень-то форси... Остерегайся... Как-нибудь да пронюхает твои штуки генерал-арестант, небось не похвалит... От такого зверя всякой беды можно ждать»... А она куражится. «Я, говорит, не казенный человек, а вольная вдова и не обязана его бояться... Я, говорит, с эстим самым дьяволом связалась из антиреса и никакой приверженности к ему не имею. Начхать мне на его!» Так, глупая, и докуражилась!..

— Куда она потом делась?

— Куда ей деваться? В Севастополе осталась. Почти всю осаду пробыла в городе по своей воле, пока ее не убило бомбой... Она отчаянная была — ничего не боялась. Почитай, каждый день к отцу-матросу на батарею бегала... хлеба, квасу, огурцов, того да другого принесет. «Кушайте, мол, на здоровье». Белье тоже стирала. Страсть ласковая к отцу была! Прибежит, смеется, зубы белые скалит и балакает с матросиками... Всем и радостно... Отец, сказывали, запрещал ей ходить. «Убьют, мол, дура». Так она не слухала... «Я, говорит, тоже обязана свой город защищать, а бог, говорит, не захочет, меня не убьют... Уж если тогда он меня спас от генерал-арестанта — значит, и теперь спасет...» И опять смеется, обнадеживает себя... И к нам на бакстион забежала.

— К вам зачем?

— А был у нас, вашескобродие, один мичман молоденький... хороший такой мичман — недавно из корпуса определился. Так она к ему бегала: узнать, значит, жив ли, почему, мол, в слободку к ей давно не заходил... Вроде быдто прачки шлялась — тоже и ему белье стирала — и привязалась к этому мичману, ровно собачонка. Так в глаза и смотрит. Прикажи он, примером, ей стать под

расстрел — стала бы, глупая, вашескобродие... И то ведь бегала на бакстион, под пулями да ядрами...

— А мичман привязан был к ней?

— Одобрял, вашескобродие, только при других виду не показывал. Совестьлся, что к ему девка бегают... И то над им смеялись. Однако, как услышал, что ее бомбой убило, как она с бакстиона в город шла, заскучил... Жалел, видно. Вскорости и сам, бедный, в вылазке голову сложил. Все просился: «Возьмите да возьмите»... Отвагу показать хотел... Известно, молод был, не понимал, что сегодня ты цел, а завтра и нет тебя и что соваться нечего. Суйся не суйся, а час придет — и шабаш.

— А Сбойников узнал, что его прежняя любовница убита?

— Узнал... Я тогда при ем состоял вроде как ординарцем... Очень даже заскучил... В задумчивости большой ходил, как бы не в себе был... Поди ж ты! Приверженность-то, значит, осталась, даром что живую сказнить хотел... И верите ли, вашескобродие, послал меня разыскать покойницу, дал денег, чтобы похоронили честь честью, и велел клочок ейных волос ему принести...

— А матрос-отец жив остался?

— Какое! Его еще раньше дочки штуцерной пулей убило наповал, и не пикнул... А добрая была эта Машка — царство ей небесное! — продолжал Кириллыч и перекрестился, глядя на усеянное звездами небо. — И мне, бывало, когда рубаху постирает, когда свежих бубликов принесет на бакстион... И всякому матросику рада была угодить. И за ранеными хаживала... Шустрая... везде попевала. Положим, грешна она была, что и говорить, а только я так полагаю, вашескобродие, что за ейную доброту да отважность бог все грехи ей простил... Даром что женского звания, а живот свой положила за Севастополь...

Кириллыч примолк и задумался.

— Хо-ро-шо! — протянул он, глубоко вздохнув. — Ишь звезды-то повысыпали вокруг месяца...

В тишине вечера раздался резкий крик.

— Это дрохва, вашескобродие. Должно, испугалась чего-нибудь! — промолвил Кириллыч и опять погрузился в молчание.

— Быть может, вы спать хотите, Кириллыч? — спросил я.

— Какой сон? За день-то я отоспался... Ночью только и дохнуть можно... Не

жарит... Хо-ро-шо! — повторил он.

Я сидел около, ожидая, что он будет продолжать рассказ о Сбойникове.

Но старик, кажется, уже и забыл о нем.

Так прошло несколько минут.

V

— А почему вы, Кириллыч, ушли из вестовых от Сбойникова? — спросил наконец я, желая навести его на прежнюю тему.

— По случаю войны. Когда стали воевать с туркой, он поздравил меня с войной и приказал назавтра же свою должность новому вестовому сдать. «А ты, говорит, явись в экипаж... Тебя снова на корабль марсовым назначат. Теперь, говорит, хороший матрос должен на своем месте быть и, в случае чего, за матушку-Расею, говорит, сражаться и честь флага отстаивать. Понял? А затем, говорит, я тобою был доволен». И с этими самыми словами дал мне десять карбованцев. Вскорости мы с Нахимовым-адмиралом ушли в море турку ловить и накрыли его под Синопом. Как вернулись в Севастополь после Синопа, пошел слух, что война будет долгая, и не с одним туркой. Сказывали потом, будто наш император Николай Павлович не согласился французского императора за равню считать. «Я, говорит, настоящий император, а ты, говорит, из каких-то беглых арестантов. Я не согласен тебя за брата признать. Прусский и австрийский императоры — те точно мои двоюродные братья, а какой же мне, русскому царю, может быть брат — беглый арестант?» Так и отписал ему и приказал своему любимому генералу отвезти письмо к французскому императору и отдать, значит, в собственные руки. Тому, известно, обидно стало, и он объявил войну да англичан на свою сторону переманил. За турку, значит, заступиться. «Мы, говорит, спеси-то собьем с русских, Черноморский флот изничтожим и Севастополь разорим». И точно, пришло ихних кораблей видимо-невидимо... Все так полагали, что Меньшиков не допустит высадки. Однако допустил. Войска, говорит, мало нашего. И в первом же сражении наших вовсе одолели... Побежали солдатики кто куда... Сказывали потом: у тех штуцера, а у нас, мол, ружьишки плохонькие — не берут. Он издали бьет, а ты стой на расстреле. И опять же: начальство вовсе бестолковое было... Генералы все врозь. Никто никого не слушает. Совсем дело плохо... Пошли, значит, французы с англичанами на Севастополь... А Меньшиков тем временем с войсками ушел... «Пропадай, мол, Севастополь, а я не виноват. Зачем мне подмоги не присылают; я, говорит, давно просил. И генералов умных просил, а мне одних, говорит, глупых генералов прислали. Без войска да без генералов я, говорит, сражаться

не могу». И просил он, сказывали тогда, императора: «Осlobоните, ваше императорское величество, а то на победу я не обнадежен!» Однако император рассердился. «Врешь, Меньшиков... Армия моя первая на всем свете, и ты мне должен французов всех выгнать. А то смотри!» Так Меньшиков и остался, — ничего не поделаешь против царского повеления. А был этот самый Меньшиков с большим рассудком старик, но только не для войны, а по другим делам... И веры в ем в войско не было... И генералов не уважал... И его никто при войске не видал. Как увидали Нахимов да Корнилов, чего набедокурил Меньшиков, поняли, что одна надежда на матросиков... «Вызволяй, мол, братцы!.. Не отдадим Севастополя!..» И сейчас же это стали возить пушки с кораблей на бакстионы да строить новые батареи на сухом пути. Дни и ночи работали. И всех, значит, арестантов выпустили — работай и вы, мол, вместе с прочими, и за то вам будет прощение. И бабы и девки, матросские женки да дочери, тогда старались вместе со всеми — помогали, всем жалко было Севастополя. Через дня два всех нас расписали по бакстионам, а залишним дали ружья и заместо войска назначили. Ждем мы таким родом неприятеля... А Корнилов-адмирал объезжал, значит, по всем батареям да по городу и обнадеживает: «Все, говорит, лучше порем, а без бою не отдадим Севастополя!» Только он да Нахимов в те поры и распорядились, а остальных адмиралов да генералов что-то не видно было. Сказывали, быдто вовсе пали духом: растерялись, значит. Город, мол, беззащитен. «Что поделаешь с горсткой матросов против всей армии...» А Нахимов да Корнилов подбадривали... Отчаянные были адмиралы... Первый отвагой брал, а другой и очень башковатый был... Ждем день, другой... И в те поры мы так и полагали, что помирать всем до одного... Где же горстке сустоять против всей армии?.. Однако господь, видно, продлить испытание хотел и навел туману на ихних генералов.

— Какого тумана?

— Да как же? Заместо того, чтоб идти прямо на Севастополь с северной стороны и брать Севастополь, а нас всех перебить, они в обход пошли, чего-то испужались. Видим это мы, что они тянутся на южную сторону — вздохнули... Значит, он осаду поведет... штурмовать не согласен. Тем временем и Меньшиков вернулся с армией. Дело и пошло взатяжку... Мы знай себе все батареи строим... И он строит. Отстроился и начал бондировку. Страсть как жарил.

— А вы где были?

— На четвертом бакстионе, вашескобродие...

— А Сбойников?

— А он рядом с нами батареей командовал... И строил сам... В два дня она у его, дьявола, была готова. Сам день и ночь стоял — и чуть заметит, что матрос отдохнуть захочет или покурить трубочки, он его приказывает отодрать линьками... Хуже, чем на судне, страху нагонял... Война не война, а он все зверствовал... Другие, которые прежде матроса не жалели, как война пошла, попритихли... Прежде, бывало, чуть что — в зубы или драть, а теперь — шабаш... опаску, значит, имели, как бы за жестокость свои не пристрелили... Разбирай потом. А этот еще сердитей по службе стал — нисколько не переменял характера... Ну и возроптали у его на батарее матросики... Но только он внимания не обращал на это — свою линию вел. И чтобы вы полагали, вашескобродие, он делал? Бывало, велит комендору навести орудие, и если бомба или ядро не попадет в цель, он этого комендора на четверть часа на банкет, под неприятельские, значит, пули на убой... Что выдумал-то? Редко кто живым оставался. А одного писаря так прямо велел привязать... потому тот стоять со страха не мог.

— А другие стояли? — спросил я.

— Что будешь делать? Стояли! Но только пошел по батарее ропот, все больше да больше. И без того каждый раз от бондировки людей убивают да ранят, а генерал-арестант еще сам под расстрел ставит... А надо вам сказать, стреляли на батарее Сбойникова, почитай, лучше всех. Первая батарея была. До того, значит, он застрашал... Кому лестно под расстрел попасть? Однако терпели-терпели, да раз, когда Нахимов приехал на батарею, какой-то комендор и скажи... «Так и так, ваше превосходительство, а терпеть, мол, командира никак невозможно... беззаконно расстрелом наказывает...»

— Что ж Нахимов?

— Отвернулся, быдто не слыхал, и после что-то Сбойникову говорил, отчитывал с глаза на глаз, потому видели, как вышли они из блиндажа оба красные. Нахимов все плечом подергивал, видно, недоволен был, а генерал-арестант насупимшись, на людей не глядит. Однако комендору, что претензию заявил, ничего не сделал, а дня через два самого Сбойникова на другой бакстион перевели.

— А там он не зверствовал?

— И там чуть не взбунтовались матросы, — так он их жестоко стрельбе учил... Под расстрел не ставил, а забивал... беда! Потом мне сказывал один матрос с бакстиона, что они промеж себя решили пристрелить его, ежели случай подойдет. Однако случая не подходило. После подошел! — прибавил

значительно Кириллыч и замолк.

— Какой случай? Расскажите, Кириллыч.

— Да что рассказывать? Пристрелили, и шабаш! Может, и неправильно тогда с им поступили. После войны и ему не дали бы так зверствовать при новом положении... Ну, да, видно, так господь ему определил! — промолвил старик словно бы в каком-то раздумье.

— Но почему вы уверены, что Сбойникова убили свои? Быть может, и неприятель?

— Свои! — уверенно и резко проговорил Кириллыч.

— Видели вы, что ли? — нарочно спрашивал я, чтобы заставить его рассказать подробности.

— Знаю! — строго и значительно промолвил Кириллыч и опять вздохнул. — В те поры я при ем состоял. Перевели его опять с бакстиона и назначили траншейным майором. Должность самая опасливая. Но только он и этой должности не боялся и шлялся по траншеям да осматривал по ночам секреты часто и под пулями, словно заговоренный какой-то от пуль. И как назначили его на эту должность, выбрал он четверых человек, чтобы бессменно при ем состояли, и меня в том числе с четвертого бакстиона взял... Собрал это он нас на Малаховом кургане, — у его там маленький был свой блиндажик по новой должности, — облаял первым делом и стращал запороть, если кто не сполнит в точности какого его приказания, а затем велел, чтобы к девяти часам все к ему явились и чтобы у каждого было по штуцеру и по линьку в кармане. Да приказал, чтобы линьки были хорошие. «А то я на вас самих, сучьи дети, говорит, попробую!..» Ладно... Вышли мы...

— А зачем линьки? — перебил я.

— А вот узнаете, вашескобродие... Просили сказывать, так не сбивайте! — с неудовольствием заметил Кириллыч.

И затем продолжал:

— Вышли мы от его и тут же раздобыли линьки от унтерцеров... Выдали нам по штуцеру да припасу, и завалились мы спать в матросском блиндаже... просили побудить к восьми часам и к назначенному сроку явились... А уж он готов... в солдатской шинели, «егорий» на груди... сабля через плечо. «Идем! — говорит, — да смотри, ни гугу... чтобы неслышно идти...» Вышли за укрепления. Он впереди, а мы за им. А ночь темная... Только звезды горят... Идем это, значит,

обходим траншеи, поверяем секреты, все ли в исправке, не спят ли «секретные»... Кругом тихо... Только слышно, как он в своих траншеях работает против наших, совсем близко, так близко, что иной раз слышно, как он лопочет по-своему... Вдруг Сбойников остановился. «Сюда!» — чуть слышно скомандовал. Мы все подскочили. «В линьки вот этого!» — и пальцем указывает на человека... А он, значит, спал в траншее перед самым неприятелем... Увидал я, что у человека офицерские погоны, и на ухо докладываю: «Офицер, вашескобродие», а он вместо ответа — мне в зубы и опять же скомандовал: «В линьки, да вовсю!» Мы и начали лупцевать. Ту ж минуту вскочил офицер на ноги: «Как, говорит, вы смеете, господин траншейный майор... Я, говорит, армии капитан!» — «Извините, говорит, господин капитан, в темноте обознался. Полагал, солдат. Никак, говорит, не рассчитывал, чтобы офицер, да еще начальник секрета, мог заснуть на своем посту!» И пошел дальше. Так, бывало, ходили мы с им каждую ночь и возвращались к рассвету. И многих он учивал линьками — не разбирая, значит, звания. Жаловались на его высшему начальству. А он и ему свое, значит, лепортует: «Обознался... Никак, говорит, не мог думать, чтобы офицер долга своего по присяге не сполнял!» Так этак через неделю, как Сбойникова сделали траншейным майором, небось никто больше не спал, кому не полагалось... С им не шути... Ходим мы с им таким родом с полмесяца... двоих унтерцеров, что были при ем, убило, одного он сам избил до полусмерти за то, что пьяный напился, да так избил, что надо было в госпиталь идтить, и остался только я из прежних, а троих новых назначили... И был один, Собачкиным прозывался, с той батареи, где Сбойников первое время служил и этого самого Собачкина прежде жестоко наказал, а младшего его брата — молодого матросика — так прямо, можно сказать, загубил, поставил его на банкет, а его через минуту пулей и срезало... А был этот Собачкин очень озлоблен на Сбойникова и за себя и за брата, но только по скрытности своей в себе злобу таил и никакого вида не оказывал, и так старался, что вскорости Сбойников ему «егория» выхлопотал и унтерцером сделал и часто своими деньгами награждал... Однако Собачкин не облестил этим... Бывало, взглянет на генерал-арестанта такими недобрыми глазами, что страсть... А был этот Собачкин, надо сказать, башковатый человек и ничего себе матрос — только загуливать любил... За это-то самое и терпел. Потому и на службе, случалось, пьяный бывал... И вот одним разом, как собрались мы идтить в ночной обход, Собачкин и говорит: «А ведь доброе дело, братцы, бешеную собаку убить. По крайности, говорит, никого кусать больше не будет. Как вы, братцы, про это полагаете?» Догадались это мы, про кого он. Молчим. А он опять. И складно так у его выходило, что нужно собаку изничтожить. «Уж давно, мол, ждут матросы не дождутся; все надеялись: пуля, мол, неприятельская уложит бешеную собаку». Молчим. «По жеребку, говорит, братцы, нужно»... Молчим. Однако

кинули трехкопеечник.

Кириллыч на минуту примолк.

— Пошли мы в ночной обход. Ночь была темная-претемная. Как шли назад, так около рассвета подошли к траншейкам впереди четвертого бакстиона. А там наши работали, чинили батарейку — тихо так, чтобы неприятель не слышал... А он услышал. Раздались выстрелы — и как бросились французы!.. Пошла тревога... Наши держатся... А их, видно, много... Одолевают... У нас затрубили отступить... Уходим, значит, наутек... А он вдогонку за нами... Идем это мы за Сбойниковым... Он все ругается, что армейские прозевали, мол, французов... Пули так вокруг нас и свищут... Начало светать... Вдруг Собачкин упал... Мы все к нему... взять хотим. «Оставьте, говорит, братцы... все равно помираю... Уговор только помните!..» Сказал это он — и дух вон... Хотели было все-таки подобрать его, да нельзя... француз наседает... Однако с бакстионов подмога тем временем шла... и французы наутек... А мы уже близко к Малахову подходим... Стрельба еще идет... Вот тут-то и вышло это самое!.. — почти шепотом проговорил Кириллыч.

— Догадался он, что его свои убили? — спросил я.

— А господь знает. Подняли его — еще дышал, а говорить ничего не говорил... только рукой на шинель показывал... Скоро и помер, а как на Малаховом снимали с его часы, то в кармане нашли пакет, а в нем пять тысяч, и на пакете написано, что, мол, кровные его эти денежки в случае смерти отдать в экипаж и разделить матросам.

Кириллыч замолчал и глубоко вздохнул.

— Вы потом опять на четвертый бастион поступили?

— На четвертый.

— Там и ногу оторвало?

— Там.

Он, видимо, неохотно отвечал на вопросы и, закуривая трубку, промолвил:

— Однако, и поздно, должно быть.

Я поспешил оставить Кириллыча и, простившись с ним, тихо пошел на хутор.

Оглянувшись, я увидел в полосе лунного света фигуру поднявшегося старика около своей сторожки. Он истово и усердно крестился.

Ночь стояла чудная.